

ЦЕНЗУРА

Вопрос о цензуре никогда не был спокоен в России. Под фактом ее, под положением ее в составе государственного управления, под «направлением» ее и «вениями в ней» всегда чувствовалась зыбкая почва, точно — «трясины»: она была «в переходном положении». Это все чувствовали; но *куда* перейти — об этом были страстные споры, здесь ничего не было ясно доказано.

— Да ее вовсе не нужно,— вот крайнее мнение, самое левое.— Пусть будет полная свобода мысли и слова. Разве же можно связывать человеческую мысль?

— Цензура нужна, и притом бдительная, строгая. Позвольте, все же соглашаются, что это «седьмая держава»: разве же можно допустить существование в государстве и обок с ним другого как бы духовного государства, от него вполне независимого? Это все равно и даже больше и хуже, чем, напр., существование иезуитского ордена, которое нигде не допускается, не допускается в самых либеральных странах, в республиках? Мысль, мнение, слово, печатное слово — родит из себя факт. Не члены человеческого тела управляют человеческою мыслью, но мысль управляет его членами, его *работою*. Если «правительство» откажется от вмешательства в «печать», то ему нужно и ему проще выйти в отставку,— в отставку по существу; ибо ему останется роль — только повиноваться печати, быть у нее на побегушках; обратиться в правительство «чего изволите». Это невозможно и унижительно для правительства. А оно представляет собою историю и народ, оберегает традиции истории и блюдет нужды населения. Население — десятки миллионов; «пишущей братии» — едва наберется несколько тысяч. Нельзя же тысячами закрыть миллионы, нельзя же нужде миллионов предпочесть удобства и

произволение этих немногих тысяч? Это умственная аристократия и прерогатива; но век аристократий и привилегий прошел. Всё подчинено и блюдет государство: подчинена и должна блюстись и печать. Панама, подкупы, скупки печати — возможна. Она будет фиктивно свободна, свободная от министров. Но где гарантия и обеспечение ее внутренней свободы, — свободы от банков и банкиров, от синдикатов и трестов промышленности? от сословий и сильных классов? Здесь граница между «свободою» и « злоупотреблением» неуследима, неуловима, стушевана и спрета. Наконец, можно быть «свободным» от приказания и свободным от подкупа: но есть столь же могучая и даже могущественнейшая власть гипноза, веяния, дружбы, симпатии, лести, рукоплескания. К «свободной печати» протянутся все руки, обратятся все души. А литераторы — народ впечатлительный. Разве же можно доверить капризы впечатления, вихрям впечатлительности «седьмую державу»?

Вопросы, на которые трудно что-нибудь определенно и решительно ответить. Увы, ответы так же колеблются и неуловимы, как и самые вопросы, и в зависимости от этого. Здесь мы вступаем в область антиномий. Можно и так решить, можно и этак решить, — и нельзя предвидеть и доказать, что такое-то решение будет истиннее и основательнее всех прочих. Положение печати оттого и зыбко, что решение о ней ни для кого не ясно и во всяком случае недоказуемо. И практика бредет, в сущности, на «авось» и на «ура»... — «Айда, дадим свободу!» Это — на «ура» бросаются вперед. Споткнулись. «Нет, надо осторожнее!» Фонаря ни у кого нет. Фонарь, кажется, по существу вещи здесь не существует.

Что же делать? Разобраться в мелочах. Разобраться в былом опыте.

Здесь торопливо хочется сказать об одном благоприятном в смысле свободы опыте ее, какой мы наблюдали от 1905 года и до «теперь». Опыт этот не отмечен, по крайней мере — не формулирован. Значение его, конечно, не вечно и не говорит о будущих временах. Заключается оно в следующем: с 1905 года с «дней свобод», мы пережили в беллетристике, и в стихах, и в публицистике (не политической) широкую проповедь разнужданности пола, невообразимое загрязнение литературы порнографией. У П. А. Флоренского, автора классического труда «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицей», ныне священника и редактора «Богословского вестника», я где-то прочел дальновидное определение этой порнографии. Он сказал, что, конечно, она не родилась в этот 1905 год, а существовала в нашем так называемом «образованном общест-

ве» если не всегда, то давно; но 1905—6 годы родили впервые условия и обстановку для ее выявления. Эти условия — новые условия печати и вместе «откровенная психология» тех и ближайших дней, тех и ближайших лет. И что же? Опыт решительно был благоприятен. Литература загрязнилась, но общество явно и ощутимо поздоровело. Известный К. Чуковский, довольно внимательно следящий за настроениями читающего общества и за итогами критики в журналистике, в одном из «новогодних обозрений» своих, приблизительно за 1909 или 1910 год, заметил: «В нынешнем году общество, читатели ненавидели текущую нашу литературу, — ненавидели и презирали то, что им предлагалось к чтению». Это были те годы, когда — памятно — многие отказывались «огулом» читать «новое», читать вообще что-либо из «поэтов-современников» и «беллетристов-современников». Произошла живительная реакция в пользу морального оздоровления. Но она произошла тем путем, каким спартанцы воспитывали в юношестве трезвость; именно они напаивали допьяна, до отвращенья рабов, и вводили в толпу из трезвых юношей, которые через зрелице должны были научиться и действительно научились добродетели трезвого поведения и состояния. Но опыт удался, собственно, от двух причин: на самом деле и в глубине сердца своего инициаторы движения, большую частью молодые писатели и «начинающие беллетристы» (из них отметим одного, — так называемого «графа Алексея Толстого» — bis) не были развращены, они не были падшие, а были просто легкомысленные, легковерные и, самое большое, легконравные люди. Затем на самое общество, на читателей, эта волна грязной литературы хлынула сразу, слишком вдруг и — оглушила. Впечатление произошло, реакция произошла. Совершенно иное было бы действие, если бы порнография «просачивалась» в литературу мало-помалу: тогда она явно могла бы начать «подтачивать» нравы, «навевать» другую и худшую нравственность, чем крепкая стародедовская, в сущности — вечная и нужная, как выверил опыт веков.

Опыт этот, говорю я, удался; но он николько не руководствен для будущих веков. Ни мало он не защищает благотворность абсолютной свободы печати...

Ах, литература, литература... Вспоминаешь, глядя на нее, изречение, которым Руссо начал своего «Эмиля»: «Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme»* «Эмиль» имеет подзаголовок: «de

* Все выходит хорошим из рук Мироздателя, все вырождается в руках человека (франц.).

L'éducation — «о воспитании»: задача, которую, являясь «в обществе», имеет и «литература». Руссо говорит, что «рождаясь», каждая вещь «прекрасна», а «потом» почему-то все «портится». Почему? Как? Все младенцы прелестны; ну, а прелестны ли «люди», которые из них «выходят»? Тезис Руссо столько же философский, сколько и религиозный. Ведь то же говорит и Библия историей сотворения человека и последовавшей историей его грехопадения. Все, кто говорит об абсолютной свободе литературы, собственно имеют в виду ее невинное рождение, и вовсе как будто не замечают ее последующей истории. А «рождение»-то ее прекрасно, как рождение младенца: эти мудрые люди, или люди с особенным талантом, «даров богов», или, по-нашему, «с даром божиим», кладут на бумагу таинственным образом вырастающие у них мысли, фантазии, драмы, мелодичные строфы стихов, образы женские и мужские, «идеалы», улучшенное, облитое мечтой и воображением... И через чудо техники, печать, назавтра становится это всем известно, все читают, думают о том же, мысленно спорят, мысленно благодарят. Все это похоже на волшебство,— все это какая-то чудесная сказка,— о котором, казалось бы, можно было мечтать только в золотом веке. И вот — она осуществилась.

— Шантажисты прессы... (эпизод из истории Панамы). Восклицание одного редактора на суде:— Позвольте, моя газета берет не «столько-то», а — «гораздо больше»: потому что она талантливая и с авторитетом...

Я помню впечатление в русском обществе по поводу тогдашнего разоблачения «шантажистов прессы», произшедшего впервые в истории. Пала какая-то на всех тоска. Что-то удущливое прошло... «Захватило горло», «нечем дышать». Ведь в сокровенной сущности вещей все общество рождает из себя литературу: и вот родитель — общество вздрогнуло: мой чудный младенец, о нем было столько радости — проворовался.

Да. Но «младенцу»-то теперь уже 26 лет, и он с бородой. «Рождение» было прекрасно, а человек вышел «кой-какой». Это уже не религия и мифология, а история. Это та грубая действительность, в которую мы просыпаемся от снов.

Что же делать? Судить по мелочам. Обсуждать рост и биографию обыкновенного человека. «Вообще» мы тут не можем дать «решения». Но размышляем о «деталях», можем кой в чем «помочь».

В следующий раз мы и войдем в эти детали.